

«дабы камень собрал и на главу твою метал», — и тотчас же квалифицируется непрекаемым приговором: «смирение сие волчее, а не овчье». И те же структуры опять варьируются в следующем цикле.

Непринужденность басенного рассказа предreshается тут и словно бы произвольным порывом обращения к доверчивой жертве: «Нет, нет, бедная овечка! плюй на его челобитье! утекай от него, бежи!» — со скороговоркой торопливо набегающих синонимов, за которыми контрастно следуют то библейские сопоставления, то бытовые присловия: «ибо стомах волков и чрево, яко пещь халдейская, на тебя распаляется, — згоришь без огня! — потоля ошибом ласкательствует, поколя зубов не рознял, а егда отворит, тогда тебе испод творит».

И уже просто великолепен рассказ самой притчи. Включающие ее («Поведем вам, возлюблени, притчу...», «яко уже есте слышали») и замыкающие («сия притча смешная...») авторские скобки позволяют оратору как бы отстранить повествование и обратиться к сказу. Но и тут подвижное сочетание книжно-литературных и бытовых форм выражения опирается на структурную основу книжных при широко характерологической роли просторечных.

Понятно, что такая роль просторечия принципиально и качественно отлична от его использования в ряду разнохарактерных языковых форм приказно-деловой речи, как например в варианте той же басни в составе перевода Кашинского:

О коню со львом

Захотелось было льву конины, а когда для своей старости лев не мог осилить коня, учинился лекарем, чтобы его обманул. Увидевши (конь) иво хитрость, молвил ему, чтобы винял с ноги еиво увязлую кость. Лев того поднялся и стал осматривать кости, а конь тым временем что мел силы ударил его в лоб копытом и бежав от него прочь.

После лев с того удару чудь пришел к памяти и само о себе осудил, что годно за свою хитрость так терплю, а как а конь в том не виноват, понеже хитрость хитростию отбил, хотячи здрав быти.

Толк: несть ничево на свете хуже над лукавство: не так бо есть страшен неприятель видимый, аки человек лукав и хитр, который иное на языку, а иное на сердцу держит.¹³

Конечно, языковые формы этого изложения, ориентированного на приказно-демократические стили, тоже не идентичны просторечию. Обнаружить литературные претензии переводчика не так уж трудно — стоит взглянуть хотя бы на синтаксическое устройство текста. И тем не менее просторечие (с примесью свойственных языку переводчика многочисленных полонизмов) служит Кашинскому не как специфический источник экспрессивно-характерологических красок или оценок, а как естественно присущие (если и не единственно свойственные) переводчику языковые средства, что, однако, не лишало этого перевода стихийной образности и динамизма народной речи.

* * *

Таким образом, басня как жанр знакома была предпетровской Руси и по ряду обширных переводов, и как оригинальное творчество — будь то в прозаической или в стихотворной формах. Причем безусловно преобладает в течение всего XVII в. была книжная, славяно-русская традиция басенного жанра. Но тем интереснее, что и эта, книжно-литера-

¹³ ГПБ, Q.XV.16, лл. 15—16.